В. Я. Богучарский.

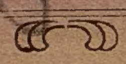
ТРИ ЗАПАДНИКА СОРОКОВЫХ ГОДОВ.

(П. Я. Чаадаев, В. Г. Белинский и А. И. Герцен).

(ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ).

ЧАСТЬ II

В. Г. БЕЛИНСКИЙ.



Книгоиздательство „АНТЕЙ".

Петербург.
1919.

Издания Книгоиздательства „АНТЕЙ“.

ИСТОРИЯ.

Проф. Ш. АСКИНАЗИ, Евреи в Польше в эпоху Варшавшавского герцогства.

И. БЕРЛИН, Исторические судьбы еврейского народа на территории Русского государства (Распродано).

Проф. Л. БРЕНТАНО, Коммунистическое движение в средние века.

Н. БУХБИНДЕР, Л. О. Леванда, по неизданным материалам. (Распродано).

Еврейский вопрос в эпоху Французской Революции.

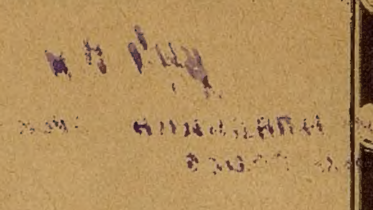
П. ЖУСТЕР, Экономический быт евреев в эпоху Римской империи.

скую эпоху.

А. ТЮМЕНЕВ. Основные элементы истории экономического и общественного развития израильского народа в греческую эпоху.

И. ШИППЕР, Очерки по экономической истории польского еврейства в средние века.

М. ШОР, История еврейской общины в Пшемысле.



АНТЕЙ

В. Я. БОГУЧАРСКИЙ.

ТРИ ЗАПАДНИКА
СОРОКОВЫХ ГОДОВ.

(ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Книгоиздательство АНТЕЙ.

В. Я. БОГУЧАРСКИЙ.

Виссарион Григорьевич БЕЛИНСКИЙ.



Петербург, 1919.

Садовая Типо-Литография, Садовая 61. Телеф. № 76-95.

Наиболее ярким, искренним и убежденным «западником» *сороковых годов* является без сомнения Виссарион Григорьевич Белинский. Насколько разнообразна и богата всякого рода внешними эффектами жизнь А. И. Герцена, настолько же поразительно бедна ими жизнь Белинского. Внешняя сторона его жизни может быть рассказана буквально в двух словах: сын военного врача, родившийся во время кочевой жизни его отца, Белинский учился в пензенской гимназии, откуда, не окончивши курса, перешел в московский университет. Там написал он свое первое литературное произведение «Дмитрий Калинин», стоившее ему не только исключения из университета, но и аттестации, гласившей, что исключается он «за неспособность». По выходе из университета этот «плебей безвестный» начинает работать в журналах, ведет жизнь в полном смысле слова литературного батрака и интеллигентного пролетария, наживает, благодаря такой жизни, чахотку и преждевременно умирает на тридцать девятом году от роду. Вот и все сколько нибудь характерное для внешней жизни великого критика. Но как полна, широка и многостороння была зато внутренняя жизнь этого человека! Плодом ея явились сочинения и переписка Белинского, т. е. документы, которые составляют и еще долго будут составлять драгоценнейшие материалы для истории развития русского самосознания. Со многим из написанного Белинским, конечно, можно и должно не соглашаться,—да странно и было бы иначе, если помнить, что мы отделены от времени, когда выливались на бумагу написанные Белинским строки, пятьюдесятью, шестьюдесятью и даже восьмидесятью годами, а история, по верному выражению Тэна, «стоять не может»,—но у Белинского, как и у всех выдающихся умов, наличность недюжинной мысли заметна даже в самых крайних его заблуждениях. Нечего, разумеется, и добавлять, что все, написанное Белинским является в то же время и чрезвычайно характерным для самой личности, по удачному выражению г. Венгерова, «великого сердца». Каждая

строка, написанная незабвенным критиком выливалась непосредственно из самой глубины его духа с такою поразительною искренностью, которой мало можно найти примеров не в одной только русской литературе.

В 1898 году чествовалось пятидесятилетие со времени смерти славного критика и много написано было в это время о Белинском в нашем отечестве. Говорили о нем и заграницей [1]). Как и следовало ожидать о Белинском высказаны были весьма различные мнения. Высказывалось, между прочим, что Белинский писал так много и так в разное время *разно*, что любая из литературных и общественных партий нашего времени может считать его в рядах своих предков или даже сделать его своим родоначальником. Говорилось, что, по мнению одного из так называемых «толстовцев», Белинский является у нас предтечею знаменитого учения о непротивлении злу насилием и ожидалась книга о незабвенном критике, написанная с этой точки зрения. Намерение это, сколько нам известно, не осуществилось, да мы сильно сомневаемся и в самой возможности сколько нибудь удачного его осуществления. Натура Белинского была по преимуществу натурой активной и боевой, его разум неудержимо стремился к созданию *целостного,* чуждого всякого эклектизма, миросозерцания, и потому, конечно, ни «толстовство», с его «непротивлением злу насилием», ни окрашенное столь несимпатичным Белинскому славянофильством современное «народничество» его едва ли могли бы удовлетворить...

Откуда у Белинского, проведшаго свое детство и самую первую молодость в глухой провинции, в каком-то патриархальном Чембаре, могла явиться еще до приезда в Москву, та ненависть к крепостному строю России, плодом которой явилась его драма «Дмитрий Калинин»,—это остается до настоящего времени невыясненным. Надо думать, что первые уроки «либерализма» юноша получил от своего отца, военного врача по профессии, долгое время скитавшагося с флотским экипажем по разным местам и, вероятно, имевшаго случаи слышать хотя бы из вторых или третьих рук о настроении и причинах его среди некоторой части офицерства двадцатых годов. Такой же, как и Григорий Белинский, военный врач Вольф (хотя «чинами» и постарше его, так как служил «штаб-лекарем» при главной квартире второй армии) не только знал подробно о замыслах этой

---

[1]) Генкель в приложении к мюнхенской „Algemeine Zeitung" писал о Белинском, как о „русском Лессинге".

части офицерства, но и принимал в них деятельное участие, разделивши за это впоследствии судьбу своих единомышленников [1]).

Прямое и косвенное влияние декабристов на русскую жизнь было весьма широко. Никитенко рассказывает про целый ряд лиц с очень скромным общественным положением, проживавших во втором десятилетии XIX века в уездном городе Острогожске (Воронежской губернии), которые были, видимо, затронуты общественным движением того времени. «Их честныя натуры,— говорит Никитенко, — не могли мириться с бюрократическою грязью и крепостным произволом, этими двумя язвами их современного общества. В них закипал протест, а рядом гнездилось сознание полного бессилия изменить к лучшему существующий порядок вещей. Отсюда внутренний разлад, который прививал им как бы несвойственныя их общему харатеру черты и оригинальныя особенности, — иногда достойныя пера Диккенса или карандаша Гогарта» [2]). Между такими людьми особенно выделялся купец Василий Алексеевич Должников, который, по рассказу Никитенко, «был либерал и прогрессист, хотя ни он, никто другой тогда этих слов не употребляли. Он ненавидел рабство и жаждал коренного изменения в нашем государственном строе, сочувствовал либеральному движению в Европе, скорбел о неудачных попытках итальянских патриотов и радостно приветствовал первые порывы к свободе в Греции [3]). Никитенко не об'ясняет, откуда же залетели в Острогожск подобныя идеи, но не мешает припомнить, что в городе этом одно время проживал Кондратий Федорович Рылеев (там же и женившийся на дочери местного помещика Тевяшова), человек, прямому содействию которого обязан и сам Никитенко освобождением от крепостной зависимости. Именно к Рылееву, уже проживавшему в Петербурге, и направил Никитенко один из острогожских «либералов» с письмом, имевшим для освобождения крепостного крестьянина такое огромное значение. Известно, с другой стороны, какое впечатление производил Рылеев на всех с ним соприкасавшихся людей от высшаго и до самого нисшаго круга и какой след оставляло на них знакомство с одним из глав событий четырнадцатого декабря [4]).

---

[1]) См. напечатанное в 1826 году по Высочайшему повелению „Донесение следственной комиссии для изыскания о злоумышленных сообществах", стр. 91.

[2]) Записки и дневник, т. I, стр. 99.

[3]) Ibid., стр. 103.

[4]) См., напр., „Воспоминания о К. Ф. Рылееве" Евгения Оболенского, напечатанные в изданном Бартеневым историческом сборнике „Девятнадцатый Век" и там же: „К. Ф. Рылеев. Из записок Н. А. Бестужева".

Сопоставивши все эти обстоятельства, мы не удивимся появлению в Острогожске несвойственных уездным городам того времени лиц и идей.

Что же может быть невероятного в том, что и Григорий Никифорович Белинский встречался с кем либо из будущих декабристов, тем более что служил он не в каком нибудь захолустье, а во флоте, вблизи Петербурга (Виссарион родился в Финляндии) т. е. там, откуда вышло не мало участников событий 1825 года. (Арбузов, Завалишин, Торсон, братья Беляевы, Дивов, Мусин-Пушкин, Акулов, двое Бодиско, Николай и Петр Бестужевы и многие другие) [1]). Подобные встречи и могли иметь своим результатом то «волтерианство» Григория Белинского, в котором впоследствии его столь энергично обвиняли почтенные чембарцы. Биография Григория Никифоровича совершенно темна, подтвердить поэтому, фактическими данными свое предположение мы не можем, но невероятного в нем, повторяем, решительно ничего нет.

Как бы то ни было, но, расставшись с флотом и переселившись в Чембар в качестве уездного штаб-лекаря, Григорий Никифорович пришелся совершенно «не к двору» местному обществу, в глазах которого, по словам биографов Виссариона, являлся «атеистом» и «волтерьянцем». В этих свойствах личности Григория Никифоровича и надо искать источник юношеского «либерализма» Виссариона. Нечего, разумеется и прибавлять, что богатейшая натура молодого Белинского была сама по себе как нельзя более склонна ко всему хорошему и извлекла из жизни в Чембаре тот максимум умственных и нравственных благ, какой только был возможен при неблестящих условиях юности будущаго критика. Порвавши почти все отношения с местным обществом, Григорий Никифорович стал, по русской привычке, пить горькую и его даровитому сыну, вместо наставлений, стали доставаться оскорбления и даже побои. Мы опустим период пребывания Белинского в чембарском уездном училище, рассказ Лажечникова о «необыкновенном мальчике», пребывание «необыкновенного мальчика» в пензенской гимназии и, как водится, исключение его оттуда «за нехождение в классы», страшную нищету, в которой очутился Белинский по приезде в Москву, поступление в московский университет, представление факультету драмы «Дмитрий Калинин» и, как результат этого, исключение «необыкновенного мальчика» и из университета с отметкою «за неспособность», а остановимся на вну-

---

[1]) Донесение следственной коммиссии.

треннем мире молодого Белинского. На первых же порах своего пребывания в Москве Белинский упивается освободительными идеями, вынесенными главным образом из Шиллера, того самого Шиллера, к которому затем, в период своего «примирения с действительностью», он чувствовал такую сильную «ненависть».

В высшей степени интересное показание о своей внутренней жизни этого времени дает сам Белинский много времени спустя в одном из писем к Станкевичу. За что возненавидел он Шиллера? «*За суб'ективно-нравственную точку зрения, за страшную идею долга, за абстрактный героизм, за прекраснодушную войну с действительностью,* за все за это, от чего страдал я во имя его», — отвечает Белинский»[1]). Драмы Шиллера, — продолжает он, — «положили на меня *дикую вражду к общественным порядкам, во имя абстрактного идеала общества,* оторванного от географических и исторических условий развития, *построенного на воздухе,* бросили меня в абстрактный героизм, вне которого я все презирал, все ненавидел (и если бы ты знал, как дико и болезненно!) и в котором я очень хорошо, не смотря на свой неестественный и напряженный восторг, *сознавал себя нулем*»[2])

Это письмо бросает чрезвычайно яркий свет на психическое содержание Белинского конца двадцатых и начала тридцатых годов. Пред нами стоит типичный наследник только что сошедшого со сцены поколения двадцатых годов, которое в лице замечательнейших по умственным и нравственным качествам представителей своих, стало на «суб'ективно-нравственную точку зрения» и об'явило войну действительности во имя «идеала», не сообразованного «с географическими и историческими условиями развития» и потому «построенного на воздухе». Но у людей, о которых идет речь, была, по крайней мере, надежда победить препятствия, лежавшие на пути претворения их идеала в действительность при помощи того общественного положения, которое они занимали и большой материальной силы, которой, вследствие этого, они обладали,—а у Белинского?! Те люди, благодаря указанным условиям, могли и не сознавать себя «нулями»,—а Белинский? Они не имели, наконец, перед собою примера полной иллюзорности надежд на те силы, на которые они уповали,—а Белинский? Вся предшествующая история крушения таких надежд прошла почти на его глазах, «последние раскаты смолкнувшей бури» пронеслись совсем близко около него (По-

[1]) Пыпин. Белинский, его жизнь и переписка, т. I, стр. 109.
[2]) Ibid.

лежаев, брать Критские и пр.),—и мог ли он, «плебей бесвестный», сознавать себя, при всем своем страстном чувстве «дикой вражды к общественным порядкам», чем либо другим, кроме «нуля»?

Это состояние духа страшно тяжелое и из него был только один выход: начать учиться, учиться серьезно, дабы или найти *основу* для своего отрицания, если таковая вообще существует *в об'ективной* действительности, или, если такой основы нет, признать свою «вражду к общественным порядкам» явлением не только ненормальным, но прямо таки бессмысленным капризом суб'ективного настроения, подлежащим искоренению усилиями разума и воли. Белинский так и поступил.

Судьба столкнула его с Н. В. Станкевичем, основателем того кружка, который, по выражению И. С. Тургенева, «искал в философии всего на свете, кроме чистого мышления». Трудно сказать, что сталось бы с Белинским, если бы, вместо Станкевича, он сошелся тогда же с Герценом, юношеский кружок которого считал себя хранителем традиций двадцатых годов, мечтал о создании в России нового «союза благоденствия» и на самую науку смотрел прежде всего с точки зрения ея пригодности для этой цели. Настроение Белинского до знакомства его с Станкевичем весьма подходило под настроение кружка Герцена; они, вероятно, сошлись бы очень близко,—а дальше?.. А дальше, конечно, можно только гадать...

Но судьба свела Белинского не с Герценом, а с Станкевичем, главою кружка, который, по характеристике его г. Пыпиным,—«увлекаемый заманчивой перспективой решения глубочайших вопросов человеческой мысли, отдался исканию этих решений, пренебрегая всем остальным, как ничтожным в сравнении с этими всеоб'емлющими вопросами». Такая перспектива не могла не быть, действительно, крайне заманчивой вообще, а для Белинского тем более, так как отвечала направлению его склонного к монизму ума и обещала в то же время дать с высочайших вершин знания те или иные ответы на «проклятые вопросы» жизни, выяснить, наконец,

Отчего под ношей крестной
Весь в крови влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

Герцен и его друзья знали о существовании кружка Станкевича, но относились далеко не сочувственно к «роскошному

пантеизму», в котором «утопал» этот кружок и презрительно называли его членов «немцами». Кружок Станкевича платил тою же монетою, величая членов кружка Герцена «французами». К кружку Станкевича принадлежал в это время и знаменитый «философский друг» Белинского М. А. Бакунин. В 1835 году Герцен и его друзья были на несколько лет «из'яты из обращения», и это обстоятельство оставило кружок Станкевича окончательно без противодействия и соперничества. Увлечение гегелизмом дошло до своего апогея. «В настоящее время, — говорит г. Пыпин,—довольно трудно себе представить умственное и душевное состояние, в которое приведены были члены кружка и больше всех Белинский наплывом идей, в которых они видели и свое личное моральное достоинство и общественное благо и которым, поэтому, предались со всем увлечением, на которое были способны. Станкевич и его друзья, скоро понявшие слишком ограниченный об'ем нашей школьной науки, с жаром бросились на философию, обещавшую всеоб'емлющие истины, и охвачены были глубоким потоком отвлеченных идей, которые они всегда готовы были принять, как догмат и внести их в свою жизнь со всеми их последствиями» [1]). Говоря это, г. Пыпин слишком обобщил впечатление от «наплыва» новых идей, распространивши его на весь «кружок». За исключением Белинского и лишь отчасти Бакунина, никто из членов кружка не шел так далеко, чтобы принимать новые идеи, как догматы, и «вносить их в свою жизнь со всеми их последствиями». Станкевич умер слишком молодым, и что вышло бы из него впоследствии сказать трудно; другие же члены кружка никогда особенною страстностью увлечения не отличались. Во время знаменитого «примирения Белинского с действительностью» все члены кружка, не исключая и Станкевича, находили, что он заходит в своей прямолинейности черезчур далеко и делает будто бы неверные выводы из гегелевской философии. На самом же деле один только Белинский и был последователен до конца. Это и понятно: для Белинского занимавшие кружок вопросы имели положительно значение «быть или не быть», для других они были в значительной степени благородным эпикуреизмом, умственным спортом...

Мы уже говорили о том состоянии духа, которое переживал Белинский до своего знакомства с гегелевской философией. Эта философия должна была или дать алчущему истины

---

[1]) Пыпин. Белинский, его жизнь и переписка, т. I, стр. 158.

Белинскому *твердую точку опоры* для того отрицательного отношения к действительности, которое было главнейшей чертой его психики предыдущаго периода, или «примирить» его с этой «действительностью», указавши ему на всю неразумность подобного отношения к последней, исходя из одних лишь суб'ективных настроений. Философия дала ответы во втором смысле, т. е. потребовала «примирения с действительностью», и последовательный до конца Белинский не отступил перед всеми вытекающими отсюда выводами. Влечения своей натуры, побуждавшие его к борьбе со злом, он принес в жертву требованиям разума. Белинский не был бы Белинским, если бы поступил иначе.

В «Новом Слове» за 1897 год, печатался ряд в высшей степени интересных статей г. Н. Каменского под общим заглавием: «Судьбы русской критики». В статьях этих (к сожалению, оставшихся неоконченными), г. Каменский проводит на личность и значение Белинского в истории развития нашего общественного самосознания взгляд, с которым в главных основаниях мы совершенно согласны, но расходимся в некоторых немаловажных, как нам кажется, подробностях. Так г. Каменский думает, что и в период своего примирения с действительностью Белинский оставался, в сущности, верным «завиральным идеям», в доказательство чего ссылается на приводимое г. Пыпиным длинное письмо Белинского к одному приятелю, написанное „неистовым Виссарионом" во время его „примирения". „Очень ошибся бы тот, — говорит г. Каменский, — кто принял бы за *охранителя* (курсив г. Каменского), „примирившагося" с русской действительностью Белинского. *Он и тогда был очень далек от консерватизма.* Петр Великий нравится ему именно своим решительным разрывом с существовавшим в его время порядком вещей. „Цари всех народов развивали свои народы, опираясь на прошедшее, на предание. Петр отозвал Россию от прошедшого, разрушил ея традицию". Согласитесь, что такие речи были бы очень странны в устах охранителя. Точно также он вовсе несклонен и к идеализации современной ему русской жизни, он находит в ней много несовершенств, но он об'ясняет эти несовершенства молодостью России. „Россия еще дитя, для которого еще нужна нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости". Он мирится теперь даже с крепостным правом, но мирится только до поры — до времени. По его словам, „правительство исподоволь освобождает", и что то обстоятельство также радует его, как-то, что, благодаря отсут-

ствию у нас маноратов, наше дворянство „издыхает само собою без всяких революционных и внутренних потрясений“. Настоящие охранители смотрели на вещи совсем иначе, и если бы кто нибудь из них прочитал цитируемое нами письмо Белинского, то нашел бы, что оно полно самых „завиральных идей“, не смотря на свое отрицательное отношение к политике. И что было бы совершенно справедливо с „охранительной“ точки зрения“ [1]).

Со всем этим решительно нельзя согласиться. Белинский ничего не умел делать на половину и если примирился с „действительностью“ и притом действительностью не только русской, но и мировой,—то это была та степень „примирения“, которая не только граничит с „консерватизмом“, но нередко далеко оставляет его за собой, впадая в чистейшее мракобесие. Русский народ еще не созрел для свободы и только поэтому Белинский, по толкованию г. Каменского, мирится с безправием русской жизни „до поры—до времени“. Пусть так, ну, а другие народы, уже созревшие для нея, могут ли они развивать и совершенствовать свою жизнь дальше в смысле свободы, может ли быть, например, поставлен вопрос об освобождении женщины? Нет, отвечает Белинский, и отвечает в таких выражениях, под которыми с удовольсвием, подписались бы все наши ультра-охранители, как бы они там не назывались,—Цитовичами, Мещерскими или как нибудь иначе. Чем должна быть женщина, спрашавает Белинский, разбирая в 1835 году в „Молве“, литературный эскиз госпожи Монборн—„Жертва“?

Женщина, — отвечает он, — это „предмет благоговейной страсти, нежная мать, преданная супруга; в этом святой и великий подвиг жизни женщины, святое и великое ея назначение“.

А посему:

«только прекрасные стороны бытия должны быть открыты ея ведению, а обо всем прочем она должна оставаться в милом простодушном неведении».

В литературе женщине нет места:

«женщина-писательница с талантом жалка, женщина-писательница бездарная, смешна и отвратительна».

Во Франции появились женщины-писательницы, восстающие на «священнейшее установление брака».

«Источник этого сенсимонизма и эмансипации понятен: их источник скрывается в желании иметь возможность удовлетво-

---

[1]) Новое Слово.—Июль, 1897 г., стр. 21.

рять нарочным страстям. Une femme emancipée—это слово можно было бы очень верно перевести одним русским словом, да жаль, что его употребление позволяется в одних словарях, да и то не всех, а только в самых обширных. Прибавлю только, что *женщина-писательница в некотором смысле есть la femme emancipée*».

Однако страшен сон да милостив Бог, ибо,

«может быть, уже недалеко то время, когда люди не только перестанут вооружаться против брака, но перестанут и торговать им; когда женщины не только перестанут авторствовать но даже *перестанут верить тому, что когда-нибудь существовали женщины-писательницы*» [1]).

Так Белинский смотрел на данный вопрос в 1835 году и в этом отношении ни на волос не изменил себе во все следующее пятилетие; так, в написанной в 1840 году статье «Мендель-критик Гете», он высказывает буквально те же самые мысли.

Говоря о французской литературе, он пишет, что «сперва ея произведения были декламаторским резонерством, которое в звучных и гладких стихах, то расплывалось пошлыми сентентенциями, как в сочинениях Корнеля, Расина, Буало, Мольера, Фенелона, то рассыпалось мелким бесом в пошлых остротах и нагом кощунстве, над всем святым и заветным для человечества, как в сочинениях Вольтера; теперь ея произведения—буйное безумие, которое, обоготворив неистовство животных страстей, выдает, подобно Гюго, Дюма, Эжену Сю, мясничество за трагедию и роман, а клеветы на человеческую натуру за изображение настоящего века и современного общества. В самом деле, что представляет нынешняя французская литература? Отражение мелких сект, ничтожных систем, эфемерных партий, дневных вопросов. Г-жа д'Юдеван, или известный, но отнюдь не славный, Жорж Занд, пишет целый ряд романов, один другого нелепее и возмутительнее, чтобы приложить к практике идеи сенсимонизма об обществе. Какие же это идеи? О, безподобные! Именно: индустриальное направление должно взять верх над идеальным и духовным, должно распространиться равенство не в смысле христианского братства, которое и без того существует в мире со времени первых двенадцати учеников Спасителя, а в смысле какого-то массонского или квакерского сектантства; должно уничтожить всякое различие между полами, разрешив женщину

---

[1]) Соч. В. Г. Белинского, 1896 г., т. 1, стр. 601—603.

на вся тажкая и допустив ее, наравне с мужчинами, к отправлению гражданских должностей, а главное—предоставить ей ей завидное право менять мужей по состоянию ея здоровья... Необходимый результат этих глубоких и превосходных идей есть уничтожение священных уз брака, родства, семейственности, словом, совершенное превращение государства сперва в животную и безчинную оргию, а потом в призрак, построенный из слов на воздухе» [1]).

Едва ли г. Каменский станет отрицать, что всякий прочитавший подобные строки «охранитель» признал бы Белинского своим братом по духу.

И далеко не на один только женский вопрос смотрел Белинский глазами охранителя.

«В это время,—пишет хорошо знавший Белинского, Панаев,—он дошел до того, что всякий общественный протест против старого порядка казался ему преступлением, насилием, французская революция делом нескольких экзальтированных людей, безумцев, осмелившихся посягнуть на разрушение государственного порядка и смиренно преклонился перед всяким произволом, исходящим свыше. Он с презрением отзывался о французских энциклопедистах XVIII столетия, о критиках, непризнававших теории «искусства для искусства», о писателях, заявлявших необходимость общественных реформ и стремившихся к новой жизни, к общественному обновлению. Он с особенным негодованием и ожесточением отзывался о Жорж Занде» [2]).

Вот что значило для Белинского «примириться»! Ведь это был, по совершенно верной характеристике его Н. Г. Чернышевским, человек, который *„никогда не любил останавливаться на половине пути“* [3]), это была натура, не боявшаяся *никаких* выводов из собственной мысли, куда бы эти выводы не приводили. Вопрос мог быть лишь о том, верно ли решена та или иная проблема и, если Белинский находил, что верно, то какое ему было дело до того, что кому бы то ни было на свете,—будь то всемогущий властелин или общественное мнение, все равно,—эти выводы могли не нравиться. В этом-то *бесстрашии* мысли и лежал залог способности Белинского также *идти до конца и в другом направлении,* раз ему было бы доказано, что основания, из которых он исходил в своих теоретических построениях ошибочны.

---

[1]) Ibid., стр. 757.

[2]) Панаев.—Литературные воспоминания и воспоминания о Белинском, стр. 248.

[3]) Очерки гоголевского периода русской литературы, стр. 304.

В том самом письме, отрывки из которого цитировал г. Каменский, находится не мало мест, которые освещают личность Белинского тридцатых годов с той именно стороны, на которой мы настаиваем. Он примирился с действительностью по той коренной причине, что эта действительность «разумна», и он усматривает такую «разумность» решительно во всех проявлениях русской жизни.

«В понятиях нашего народа,—пишет Белинский в том же письме,—свобода есть *воля* (курсив подлинника), а воля озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы,—пить вино, бить стекла и вешать дворян, которые бреют бороды и ходят в сюртуках, а не в зипунах, хотя у большинства этих дворян не было ни дворянских грамот, ни копейки денег».

Ясно, что освобождение народа и провозглашение политической свободы было бы при таких условиях делом «неразумным». Да и для чего все это, если дела в России, по мнению Белинского, и так идут хорошо.

«Давно ли мы с тобою живем на свете,—пишет он,—давно ли мы помним себя, и уж посмотри, как переменилось общественное мнение: много ли теперь осталось тиранов помещиков, а которые и остались, не презирают ли их сами помещики? *Видишь ли, что в России все идет к лучшему.* Давно ли падение при Дворе сопровождалось ссылкою в Сибирь? А теперь оно сопровождается много, если ссылкою в деревню. Давно ли Миних, фельдмаршал, герой, был осужден на четвертование и только по милосердию императрицы был сослан на всю жизнь в Сибирь, а теперь уже и нас с тобою, людей совершенно ничтожных в гражданском отношении не будут четвертовать даже и в таких случаях, если бы мы были достойны этого».

Приведя еще несколько примеров быстрого прогресса русской жизни, Белинский спрашивает:

«А что всему этому причиной? Установление общественного мнения, вследствие распространения просвещения и может быть самодержавная власть. Эта самодержавная власть *дает нам полную свободу думать и мыслить,* но ограничивать свободу, громко говорить и вмешиваться в ея дела... Правительство позволяет нам выписывать из-за границы все, что производит германская мыслительность, самая свободная и не позволяет выписывать политических книг, которые послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательных людей. В моих глазах эта мера *превосходна* и *похвальна.* Главное дело в том,

что граница России со стороны Европы не есть граница вредного для России политического направления, а в этом я не вижу *ни малейшего стеснения мысли*, но напротив, самое благонамеренное средство для ея распространения. Вино полезно для людей взрослых и умеющих им пользоваться, но гибельно для детей, а политика есть вино, которое в России может превратиться даже в опиум» [1]).

И Белинский шел в охранительном направлении все дальше и дальше. Такие статьи, как „Менцель—критик Гете" или „Бородинская годовщина" были лишь кульминационным пунктом того воззрения, которое вырабатывал Белинский много лет с тех пор как „возненавидел Шиллера" за проповедь „дикой вражды к общественным порядкам во имя абстрактного идеала общества". Требуя, чтобы положительное или отрицательное отношение к действительности исходило из *разумных оснований,* т. е. чтобы отношение это имело свое корни не в суб'ективных настроениях, а в *об'ективной* действительности, Белинский совершенно последовательно обрушивается со всею страстью своей натуры на „маленьких-великих людей" в роде Менцеля. Вот как характеризует сам Белинский причины своего такого отношения к „маленьким-великим людям" в статье „Менцель—критик Гете".

„Ему (Менцелю) не нравится порядок дел в Германии и *он придумал на досуге свой план для ея благосостояния;* но так как она не осуществляет этого благодетельного плана, не будучи в состоянии отрешиться ни от своего исторического развития, ни от своей национальной индивидуальности, да еще, кажется, не будучи в состоянии постичь всей премудрости г. Менцеля, и не верит ей, а на самого его смотрит, как на журнального крикуна и политического полишинеля, то он и восстает на нее со всем ожесточением фанатика и представляет собою отвратительное и возмутительное зрелище сына, бьющаго по щекам родную мать свою. Другими словами: ему досадно, зачем Германия *есть то, что она есть, а не то, чем бы ему хотелось ее видеть*—требование столь же справедливое, как то, зачем у вас волосы русые, а не черные, когда мне именно хочется, чтобы у вас были черные волосы... И, поэтому, ему не нравится в Германии, и ея книжность, и ея ученость, и ея патриархальные обычаи и нравы. Но более всего он восстает на нее в лице ея гениальных представителей, которыми она гор-

[1]) Пыпин, стр. 182.

дится и которые доставили ей умственное владычество над всею просвещенною частью земного шара. Философия Гегеля признала монархизм *высшею разумною формою государства,* и монархия, с утвержденными основаниями, из исторической жизни развившимися, была для великого мыслителя *идеалом государства.* Менцель думает об этом совершенно иначе и потому он об'явил, что Гегель сумасброд, дикий фанатик и его философия — беснование полоумного человека".

Отсюда уже логически вытекает и определенное отношение Белинского к формам государственного строя России:

„Жизнь всякого народа, — пишет он в знаменитой статье „Бородинская Годовщина", — есть разумно необходимая форма общемировой идеи, и в этой идее заключается и значение, и сила, и мощь, и поэзия народной жизни".

„Не забудем, что достижение цели возможно только через разумное развитие не какого-нибудь чуждого и внешняго, а субстанциального, родного начала народной жизни, и что таинственное зерно, корень, сущность и жизненный импульс нашей народной жизни выражается словом „царь".

„Не будем толковать и рассуждать о необходимости безусловного повиновения царской власти; это ясно и само по себе; нет, есть нечто важнее и ближе к сущности дела: это — провести в общее сознание, что безусловное повиновение царской власти есть не одна только польза и необходимость наша, но и высшая поэзия нашей жизни, наша народность, если под словом „народность" должно разуметь акт слития частных индивидуальностей в общем сознании своей государственной личности и самости. И наше русское народное сознание вполне исчерпывается словом „царь", в отношении к которому „отечество" есть понятие подчиненное, следствие причины. Итак, пора уже привести в ясное, гордое и свободное сознание то, что в продолжение многих веков было непосредственным чувством и непосредственным историческим явлением: пора сознать, что мы имеем разумное право быть горды нашею любовью к царю, нашею безграничною преданностью его священной воле, как горды англичане своими гражданскими постановлениями, как горды Северо-Американские Штаты своею свободою".

„Да, в слове „царь" чудно слито сознание русского народа, и для него это слово полно поэзии и таинственного значения".

Если бы на каком-нибудь парадном торжестве не было царя, то для громады народа „торжество было бы не торже-

ством, а бессмысленною сходкою праздного народа и в священном не было бы священного"... [1]).

Таковы заключительные аккорды речей Белинского в его „примирительный" период. Как и все остальное, им написанное, „Бородинская Годовщина" представляла собою результат его глубокого и искренняго убеждения. Существует не мало любобытных рассказов современников, рисующих душевное состояние Белинского и в этот ультра-консервативный период его жизни.

„За эту статью („Бородинскую Годовщину"), — говорил тогда же Белинский Панаеву, — меня назовут льстецом, подлецом, скажут, что я ковыркаюсь перед властями... Пусть! Я не боюсь открыто и прямо высказывать свои убеждения, что бы обо мне ни думали... Против убеждения никакая сила не заставит меня написать ни одной строчки... Подкупить меня нельзя... Клянусь вам, Панаев, — ведь, вы еще меня мало знаете. Мне легче умереть с голода, чем потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя" [2]).

Перед самым напечатанием „Бородинской Годовщины" с Белинским встретился в Москве Герцен, и между ними произошел жаркий спор о значении „действительности".

— Знаете ли что, сказал я Белинскому, думая поразить его своим крайним ультиматумом, — рассказывал впоследствии Герцен об этом споре, — что с вашей точки зрения вы можете доказать, что чудовищный произвол, под которым мы живем, разумен и должен существовать.

— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский, и прочел мне „Бородинскую Годовщину".

Этого я не мог вывести и отчаяный бой закипел между нами.

Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал „Бородинская Годовщина".

„Я прервал с ним всякия отношения".

Впоследствии, когда Белинский расстался окончательно с своей примирительной точкой зрения, он с тою же искренностью и прямотою говорил Панаеву такие слова:

„Жизнь моя не должна быть долга, во мне зародыш чахотки, я это очень хорошо знаю, но я охотно отдал бы несколько лет жизни, если бы мог этим искупить мое безумие,

---

[1]) В. Г. Белинский. Соч., т. I, стр. 757—758 и др.

[2]) Панаев.—Литературные воспоминание о Белинском, стр. 256.

до тла истребить воспоминание об этой эпохе и уничтожить все нелепые статьи мои, относящиеся к ней" [1]).

Это было, однако, еще впереди, в описывающее же время Белинский „взвинтил" свою мысль до зенита в *консервативном направлении.* Сама „российская действительность" (выражение Белинского), которая была современником и очевидцем переживаемой Белинским замечательной стадии развития, ничего, по обыкновению, в этом не понимала, а между тем совершалось событие неслыханное и невиданное в русской литературе. Мы совершенно убеждены, что ни до ни после эта „российская действительность" не имела никогда такого безкорыстного защитника, такого беззаветно ей преданного апологета. Но, „действительность", повторяем, ровно ничего не понимала и лишь прикрывала свое непонимание якобы олимпийским — „ни хвалит, ни порицать"!.. [2]).

Такие статьи, как „Менцель критик Гете" и в особенности „Бородинская Годовщина" произвели неблагоприятное впечатление и на членов кружка Станкевича, не исключая и его самого. Все они об'ясняли появление подобных статей недостаточным знакомством Белинского с Гегелем, т. е. давали об'яснение, которого придерживаются многие и до настоящаго времени. Справедливо ли такое об'яснение? Г. Каменский в выше цитированных статьях „Судьбы русской критики" напоминает чрезвычайно кстати, что понятие о „примирении с действительностью" т. е. то основание, из которого исходил Белинский, когда писал свои примирительные статьи, дано именно в этих выражениях (Die versohnung mit der Virklichkeit) самим Гегелем. Белинский, конечно, сделал в то время „неправильные", в особенности в приложении к русской жизни, выводы из Гегеля, это так, но это же и указывает на необыкновенную силу мышления нашего критика, ибо иных выводов, если пойти за Гегелем во взгляде на его философию, как на заключающую в себе истины *абсолютные*, и сделать было невозможно. Виноват, по этому, в неправильных выводах из Гегеля не Белинский, а сам

---

[1]) Ibid, 321.

[2]) Во время чествования пятидесятилетия со дня смерти знаменитого критика в „Новом Времени" был приведен, со слов свояченицы Белинского А. В. Орловой, такой факт: по смерти Белинского, когда его вдова Марья Васильевна занимала какое то неважное место в одном из женских институтов, туда пожаловало важное начальствующее лицо. Повидимому красота Марьи Васильевны произвело на него впечатление и оно осведомилось, кто она такая. „Вдова литератора Белинского", сказали ему. „Знаю, знаю, заметило начальствующее лицо, *стишки писал*"...

Гегель. Об'яснимся. Философия Гегеля представляет собою прежде всего систему *диалектическую*, но она сталкивается сама собою в тот момент, когда об'являет себя системою *абсолютной*. Там, где речь идет о диалектическом взгляде на вещи, там само собою имеется на лицо понятие о предмете *в его развитии* т. е. о процессе отмирания элементов старого и замены их новыми, высшими. Но какое же развитие возможно в том, что признается за нечто абсолютное? Абсолютность исключает самую мысль о возможности дальнейшаго развития, дальнейшаго движения вперед, и следовательно понятие абсолютного диаметрально противоположно понятию диалектического. А так как по той же системе Гегеля всякий общественный порядок является лишь об'ективным выражением сознанной людьми в данный момент истины (определенной ступенью, до которой достигло самосознание „всемирного духа"), то одно из двух: или современная Гегелю „истина" была еще не полна, относительна и подлежала дальнейшему развитию, — но тогда и общественный строй, ей соответствовавший, подлежал тому же, или же „истина" эта уже завершила (по крайней мере, в Германии — в лице самого Гегеля) цикл самого развития, остановилась и превратилась в истину абсолютную. В этом случае само собою разумеется, что и об'ективирующий такую совершенную истину общественный строй никакому дальнейшему изменению не подлежит, и с ним надо „примириться", так как восстание против него является восстанием против самого „всемирного духа". Как же решает этот вопрос философия Гегеля? Она решает его *двояко*, и из нея *с одинаковым правом* можно было сделать и тот и другой вывод. Тут и лежала причина, разделившая впоследствии европейских гегельянцев на два враждебные лагеря. Это коренное противоречие Гегеля с самим собою стало в Европе предметов самого тщательного исследования, продолжавшагося до тех пор, пока пшеница не была отделена от плевел и пока из гегелевской философии не было взято все ценное для построения системы, легшей затем в основание наиболее прогрессивного общественного движения. К несчастью, Белинский уже не дожил до этого времени, и не его вина, если он безуспешно бился над теми самыми вопросами, решение которых долго не давалось и самым выдающимся мыслителям Европы. Говорят, что Белинский не решил этих вопросов по причине своего плохого знакомства с предметом, о котором взялся судить. Но почему же тогда „знатоки" Гегеля,—сам Станкевич и его друзья,—ни разу не указали, *в чем же именно* заключа-

лась ошибка рассуждений Белинского, и как же следует оперировать с этой философией, дабы одновременно и остаться верным ея духу и сделать из нея по отношению к русской или даже какой хотите „действительности“ выводы диаметрально противоположные тем, какие сделал „несведущий“ Белинский?

Были наши другие гегельянцы так уж хорошо знакомы с делом? Послушаем по этому поводу Тургенева:

„Друзья-наставники Белинского, передававшие ему всю суть и весь сок западной науки, — говорит Тургенев, — *часто сами плохо и поверхностно ее понимали*“ [1]).

„Если бы кто-нибудь шепнул тогда же молодым философам,—продолжает Тургенев,—что Гегель *не все существующее признает за действительное* (курсив Тургенева), много бы умственной работы и томительных прений было сбережено“ [2]).

Но никто не „шепнул“ этого ни Белинскому, ни другим нашим философам, и сам Тургенев написал свое „если бы“ только через тридцать лет после спора о значении знаменитого изречения: was virklich ist das ist vernünftig.

Мы думаем, что „друзья-наставники“ Белинского не делали того, что должны были бы сделать в качестве „знатоков“ философии Гегеля не только потому, что сами не обладали нужными для этого познаниями, но и вследствие того, что все они (за исключением Бакунина) были одновременно и слишком либеральны для того, чтобы согласиться с чудовищно-консервативными взглядами неистового Виссариона и слишком умеренны и аккуратны, слишком в этих вопросах „спортсмены, чтобы воспринять полностью все те *жесткие* выводы, которые неизбежно вытекали из философии Гегеля, если ее „поставить на голову“ или, правильнее, „на ноги“. А, ведь, при таком только условии и возможно было *логическое* опровержение консервативных взглядов Белинского.

Белинский был „односторонен“, Станкевич и его друзья „разносторонни“, — говорят нам. И это в некотором смысле верно.

Станкевич, напр., интересовался такими „сторонами“ жизни, к которым Белинский был более, чем равнодушен.

Одиннадцатого декабря 1834 года Станкевич писал из своего имения в Острогожском уезде Воронежской губернии, Я. М. Неверову такия строки:

[1]) Сочинения И. С. Тургенева. „Воспоминания о Белинском“, т. XII, стр. 23.
[2]) Ibid.

„Сегодня писал в Харьков прошение об определении меня в почетные смотрители Острогожского уездного училища. Представление пойдет к министру, и если он утвердит, то у меня будет прекрасный мундир, а вицмундир такой же, как у тебя“ [1]).

Где же при такой „многосторонности“ не осудить „односторонняго“ Белинского?

А Грановский? Этот человек ужасно не любил ни в чем „крайностей“ и писал, поэтому, в одном из писем к Станкевичу такие строки о Чаадаеве:

„Чаадаев *мог бы быть* по уму очень замечательным человеком, но его погубило самолюбие, доходящее до смешных глупостей“ [2]).

Такую же черту в Грановском подметил и Белинский, писавший о нем Бакунину шестого февраля 1843 года:

„Он (Грановский) — человек хороший; одно в нем худо — *модерация*“ [3]).

Не в суд и осуждение говорим мы все это о Станкевиче и его друзьях, мы хотим лишь запечатлеть в сознании читателя мысль, что при всех их несомненных достоинствах Станкевичу и другим нашим философам тридцатых годов было до Белинского

„как до звезды небесной далеко!“...

Мы утверждаем, что, если не об'ем знаний (хотя и это понятие относительное: кто из современников Белинского мог с ним помериться, напр., в истории русской литературы?) [4]),

---

[1]) См. письмо Н. В. Станкевича к Я. М. Неверову в книге П. В. Анненкова „Николай Владимирович Станкевич“. М. 1857 г. стр. 115—116.

[2]) А. Станкевич. „Тимофей Николаевич Грановский“. М. 1869 г. стр. 111.

[3]) Пыпин.—Белинский, его жизнь и переписка, стр. 229—230.

[4]) У нас многие видели в Белинском „недоучку“ и смотрели на него полупрезрительно с высоты своей мнимой учености, но вот что писал о Белинском такой компетентный человек в области знания, как Н. Г. Чернышевский: „изучение сочинений Белинского самым неоспоримым образом опровергает всякия сомнения в основательности его знаний. У нас было мало писателей, которых можно было бы сравнить с ним в этом отношении. Кажется, нельзя сказать, чтобы круг вопросов, обнимаемых его сочинениями был тесен, а между тем, положительно видишь, перечитывая его статьи, что обо всех вопросах, каких ни касался он, он и имел понятия очень основательные, которым могли бы позавидовать многие ученые писатели. Что же касается его специальной науки,—истории русской литературы, то он был и до сих пор остается первым знатоком ея. В этом отношении никто из наших ученых не мог до сих пор сравниться с ним. Вообще, надо признаться, Белинский, будучи значительнейшим из всех на-

то *сила мышления* была у Белинского гораздо значительнее, чем у всех остальных членов обоих знаменитых кружков тридцатых годов. Это была натура, счастливо сочетавшая в себе влечения здорового чувства с замечательно глубоким философским складом ума. Черту эту отмечают и некоторые из близко знавших Белинского современников:

«Белинский,—говорит князь Одоевский,—был одною из высших философских организаций, которые я когда либо встречал в жизни». [1])

«Дар проникать в сущность философских тезисов даже по одному намеку на них и потом открывать в них такие стороны, какие не приходили на ум и специалистам дела,—говорит Анненков,—этот дар *поражал в Белинском* многих из его философствующих друзей. Он не утерял его и тогда, когда, повидимому, предался душой и телом одному известному толкованию гегельской системы» [2]).

Переехавши в Петербург и давши по своим московским приятелям «последний яростный залп», Белинский очень скоро почувствовал полную невозможность держаться той точки зрения, которую он себе усвоил. «Российская действительность» стала колоть ему глаза именно своею «неразумностью», и знаменитый критик быстро стал изменять свое к ней отношение. В высшей степени любопытен в этом отношении рассказ Герцена о его встрече с Белинским в Петербурге в 1840 году [3]).

Встреча эта была вначале суха, но затем Белинский сказал: «Ваша взяла»; *три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы.* Забудем этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого. Там был инженерный офицер. Хозяин спросил не хочет ли он со мною познакомиться? «Это автор статьи о «Бородинской годовщине?»—спросил его на ухо офицер. «Да».—«Нет, покорно благодарю,—сухо отвечал тот. Я слышал все и не мог вытерпеть. Я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: «вы благородный человек, я вас уважаю». Чего-ж вам более? «С этой минуты и

ших критиков, был и одним из замечательнейших наших *ученых*. Это факт неоспоримо доказываемый его сочинениями. Сомневаться в том, значит обнаруживать или недостаток научного образования в себе или свое незнакомство с сочинениями Белинского". (Очерки гоголевского периода русской литературы. Спб. 1893 г. стр. 348).

[1]) Русский Архих. 1884 г. стр. 339.

[2]) Замечательное десятилетие. Вест. Евр. 1880 г. Январь, стр. 237.

[3]) Кроме „Былого и Дум", см. также письмо Огарева к Герцену в „Русской мысли" 1889 г. Январь, стр. 12—13.

до кончины Белинского,—добавляет Герцен,—мы шли с ним рука об руку».

Как же это всетаки случилось, что Белинский так быстро и так решительно покинул свою прежнюю точку зрения и воспринял другую резко ей противоположную? Г. Пыпин говорит, что «изменение взглядов Белинского было его *самостоятельным* (курсив г. Пыпина) делом. Встреча с людьми противного образа мысли (именно с Герценом), в которой многие видят одну из главных, почти единственную причину этого переворота, на первый раз нисколько не подействовала на Белинского, а, напротив, только усилила его тогдашние взгляды; под впечатлением этой встречи написаны самые резкие статьи Белинского в идеально-консервативном направлении. Правда, эта встреча дала лишний повод Белинскому пересмотреть свои теории искусства и общества, но нет сомнения, что и без этого повода Белинский пришел бы к тому же результату. Мнения противников вспомнились ему, но он признал их справедливость только тогда, когда сам пришел к тому же выводу, даже сблизившись потом с Герценом, он первое время очень умерял свою солидарность с его мнениями. Главным источником нового направления Белинского была сама жизнь, сама «российская действительность» [1]).

Во всем этом много неясного. Когда г. Пыпин говорит нам, что перемена взглядов Белинского была его «самостоятельным делом», мы вправе ожидать, чтобы почтенный ученый об'яснил нам, какими же именно *основами* заменил Белинский *основы* своего прежнего миросозерцания и каким образом могло случиться, чтобы в течение «трех-четырех месяцев пребывания в Петербурге» (а это, по рассказу Герцена, слова самого Белинского) он умел «самостоятельно» выработать себе целую систему новых воззрений, отбросивши прежнюю, на выработку которой он употребил *много лет* упорного труда? Этого г. Пыпин нам не об'ясняет. То обстоятельство, что, сблизившись с Герценом, Белинский «первое время очень умерял свою солидарность с его мнениями» доказывает лишь то уже не раз отмечавшееся нами обстоятельство, что Белинский отличался такою глубиною ума, которой далеко уступали все его друзья, а в том числе и Герцен. Но все это мало уясняет дело. «Главным источником нового направления Белинского была сама жизнь, сама „российская действительность“,—говорит г. Пыпин. И это совершенно верно, но верно в том смысле, что Белинский, *посту-*

[1]) Пыпин, т. II, стр. 92—93.

пившись выработанными им раньше философскими основами, стал реагировать на «российскую действительность» просто, как всякий живой человек, обладающий здоровым чувством. Это, конечно было очень хорошо, Белинский дорог нам главным образом, как Белинский последняго периода его жизни, но, признавая все это, нельзя, однако, упускать из вида и того, что в *философском смысле* Белинский совершил, по меткому выражению одного русского писателя, некоторое «грехопадение». Виноват ли в этом Белинский? Разумеется нет, ибо философские основы, которые бы годились в качестве фундамднта для нового направления Белинского в это время только еще вырабатывались в самой Европе, а из «русских друзей» *ровно никто* не был в состоянии помочь ему в этом горе. Мы говорили уже, что в «консервативный период» своей жизни Белинский пожертвовал здоровыми влечениями своей натуры философским обоснованиям, необходимым для полноты, стройности и единства миросозерцания, теперь произошло обратное: все это пришлось принести в жертву влечениям здорового чувства. Но даже и в этом отношении Белинский обнаружил удивительную мощь мысли. «Конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки „о бородинском сражении", — писал Белинский в одном письме к Боткину,—*верна в своих основаниях,* но должно было бы развить и идею отрицания, как *историческою права не менее первого священного* и без которого история человечества превратилась бы в грязное и вонючее болото; а если этого нельзя было писать, то *долг чести* (курсив Белинского) требовал, чтобы уж и ничего не писать. Тяжело и больно вспомнить! А дичь, которую изрыгал я в неистовстве против французов,— этого энергичного, благородного народа, льющаго кровь свою за священныя права человечества... Проснулся я и страшно вспомнить мне о моем сне... А это насильственное примирение с гнусною действителеностью?" [1]).

Нельзя не видеть из этого письма, что перед умственным взором Белинского уже носилась „идея отрицания", опирающаяся на „священное" по своему значению „историческое право", но, к сожалению, и опять-таки, разумеется, не по своей вине, Белинский далеко не всегда держится этой позиции и нередко незаметно для самого себя возвращается к той „суб'ективно-нравственной точке зрения" первого периода своей жизни, которую он сам же так жестоко осудил в выше цитированном

[1]) Ibid, стр. 78.

нами письме к Станкевичу. Из этого же отрывка письма к Боткину видно, что сам Белинский считал свое „примирение с гнусною российскою действительностью“ „насильственным“. Что хотел сказать Белинский, употребивши это выражение? Мы думаем, что едва ли можно в данном случае истолковать его иначе, чем истолковываем мы: Белинский хотел этим сказать, что в примирительный период своей жизни, он *насильственно* подавлял влечения своего сердца, принося их в жертву целостности миросозерцания.

Но мы повторяем, что указание г. Пыпина на „самое жизнь, самою российскую действительность“, как на источник нового направления Белинского *фактически* совершенно верно.

Was wirklich ist das ist vernünftig, твердил Белинский знаменитую гегелевскую формулу и по приезде в Петербург, пробуя на все лады применить ее к окружавшей его действительности. Чем же отвечала эта „действительность“, чем доказывала чем оправдывала свое право на отношение к ней, как к разумной? Два-три взятые на удачу свидетельства современников могут легко отвечать на этот вопрос.

В период времени, о котором идет речь, „российская действительность“ заставляла, конечно, себя чувствовать мыслящих людей на всем пространстве России, но с особенною интенсивностью это чувствовал на берегах Невы. Вот что писал в своем „Дневнике“, напр., А. В. Никитенко, по профессии цензор и притом такой цензор, у которого выходили столкновения даже с Пушкиным и Гоголем, следовательно, человек, „отвести“ свидетельство которого не в состоянии и самые строгие судьи:

„причина нравственного падения у нас, по моему мнению,— писал Никитенко,—в политическом ходе вещей. Настоящее поколение людей мыслящих не было таково, когда, исполненное свежей юношеской силы, оно впервые выступало на поприще умственной деятельности. Оно не было проникнуто таким глубоким безверием, не относилось цинично ко всему благому и прекрасному. Но власти об'явили себя врагами всякого умственного развития, всякой свободной деятельности духа. Не уничтожая ни наук, ни ученой администрации, они однако до того затруднили нас цензурою, частными преследованиями и общим направлением к жизни, чуждой всякого нравственного самопознания, что мы вдруг увидели себя в глубине души, как бы запертыми со всех сторон, отгороженными от той почвы, где духовныя силы развиваются и совершенствуются. Сначала мы судорожно рвались на свет. Но когда увидели, что с нами не

шутят, что от нас требуют безмолвия и бездействия, что талант и ум осуждены в нас цепенеть и гноиться на дне души, обратившейся для нас в тюрьму, что всякая свободная мысль является преступлением против общественного порядка, когда, одним словом, нам об'явили, что люди образованные считаются в нашем обществе париями, что оно приемлет в свои недра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина почитается единственным началом, на основании которого позволено действовать, тогда все наше поколение вдруг нравственно оскудело. Все его высокия чувства, все идеи, согревавшия в его сердце, воодушевлявщия его к добру, к истине, сделались мечтаниями без всякого практического значения. Все было приготовлено, устроено и настроено к нравственному преуспеянию. И вдруг этот склад жизни оказался несвоевременным, негодным, его пришлось ломать и на развалинах строить канцелярския камеры и солдатския будки" [1]).

В петербургской журналистике, т. е. на той единственной арене, на которой думал сражаться Белинский, уже „хозяйничал" во время переезда неистового Виссариона в Петербург знаменитый Фадей Булгарин, личность которого находилась под особым покровительством сильных мира сего. В случае литературных столкновений доблестный писатель этот всегда обращался куда следует за „внелитературным" содействием и, разумеется, в этом успевал. „Бог во благости Своей дал нам вас и жандармский корпус", писал однажды Булгарин шефу жандармов Орлову [2])...

Такова была эта «действительность», которая могла представляться Бенкендорфам „plus que magnifique", но признать которую „vernünftig" было выше сил всякого самого отчаянного доктринера, а тем более Белинского.

Задумался и Виссарион... Три—четыре месяца и глубокий прощальный поклон „финистерскому колпаку" Гегеля... Так произошел разрыв Белинского с „действительностью", которой он об'явил с этого времени самую жестокую войну и для которой в его лексиконе не осталось другого прилагательного, кроме „гнусной".

Белинский, глубокочестный, мятущийся Белинский является и в этот период своей жизни тем незнающими компромисов бойцом за истину, пред которым... „преклониться не стыдно"!...

---

[1]) А. В. Никитенко, „Записки и дневник", т. I, стр. 327—328.

[2]) Пятковский.—Из истории нашего литературного и общественного развития. Т. II; стр. 350.

Мы уже упоминали, что для многих из знаменитейших русских деятелей тридцатых и сороковых годов добывание тех или иных философских истин было в некотором роде как бы умственным спортом, а не делом жизни. Возьмите двух таких замечательных, хотя и стоявших в то время на двух разных полюсах, людей, как Герцен и Хомяков и сравните их с Белинским. Вечно споря со всеми и каждым, Хомяков доказывал несостоятельность одного человеческого разума для познания истины. Источником для такого познания должно служить по его мнению, откровение; разуму же при этом принадлежит чисто формальная роль. Герцен стоял на диаметрально-противоположной точке зрения и, вот, между ними произошла, однажды, такая схватка:

— Знаете ли что,—сказал Герцену Хомяков вдруг, как бы удивясь новой мысли,—не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающагося в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, как простое беспрерывное брожение, не имеющее цели и которое может и продолжаться и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой.

— Я вам и не говорил,—ответил Герцен,—что я берусь это доказывать,—я очень хорошо знал, что это невозможно.

— Как?—сказал Хомяков, несколько удивленный,—вы можете принимать эти страшные результаты *свирѣпейшей имманьнции* и в вашей душе ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.

— Ну, вы, по крайней мере, последовательны; однако, как человеку надо свихнуть себе душу, чтобы примириться с этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть к ним!

— Докажите мне, что *не наука* ваша истина и я приму ея выводы также откровенно и безбоязненно.

— Для этого надобно веру.

— Но, Алексей Степанович, вы знаете: „на нет и суда нет".

Этот рассказ самого Герцена г. Смирнов приводит в составленной им биографии Аксаковых [1]), но обрывает его на очень интересных, по нашему мнению, для характеристики и Герцена и Хомякова строках. Вслед за словами «на нет и суда

[1]) В. Д. Смирнов. Аксаковы (Биографическая библиотека Павленкова) Стр. 17—18.

нет» в подлинном рассказе Герцена значится: *„Хомяков по обыкновению заключил смехом и мы стали говорить о другом“* [1]).

Таким образом, когда спор дошел до самого центра вопроса, Хомяков, «по обыкновению», рассмеялся и обе стороны, как ни в чем не бывало, «стали говорить о другом»...

Представьте себе теперь на месте Герцена Белинского. Да разве так отнесся бы он к предмету спора? Разве не впился бы он со всею страстью своей натуры в Хомякова, разве выпустил бы его, что называется «живым» из рук, разве не оскорбился бы в такую, Белинский бы сказал,—торжественную минуту легкомысленным смехом своего противника, разве перешел бы с легким сердцем к разговору «о другом»?!...

Нет и нет.

Вот что рассказывает об аналогичном случае Тургенев:

„В первые дни своего пребывания на даче лесного института Белинского занимал очень важный религиозный вопрос. Поверите ли, что в течение восьми дней, пока он не добился удовлетворительного по его мнению, разрешения своих сомнений, он был в лихорадке, ни о чем другом и говорить не мог, *не понимал даже, как можно говорить о чем нибудь другом, пока вопрос такой важности не разрешен и упрекал меня в легкомыслии, как только я позволял себе малейшее уклонение*“ [2]).

Тот же Тургенев рассказывает в другом месте, что возвратясь из Берлина, он много говорил с Белинским по вопросу о бытии Божием с точки зрения „последняго слова науки“. Белинский был воплощенное внимание. Проговоривши несколько часов,—рассказывает Тургенев, я грешным делом, захотел есть и стал прощаться. Белинский посмотрел на него с глубоким упреком: „мы не решили еще вопроса о существовании Бога, а вы хотите есть“,—сказал он... „Сознаюсь,—говорит вслед за этим Тургенев, что, написав эти слова Белинского, я чуть не вычеркнул их при мысли, что оне могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей... Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, *как* Белинский произнес эти слова и, если при воспоминании об *этой* правдивости, об *этой* небоязни смешного, улыбка может придти на уста, то разве только улыбка *удивления и умиления*“ [3]).

---

[1]) А. И. Герцен. Сочинения т. VII, стр. 298 299.

[2]) „Встреча моя с Белинским“. (Письмо к Н. А. Основскому). Сочин. И. С. Тургенева. Т. XII, стр. 363.

[3]) „Воспоминания о Белинском“. Сочинения Тургенева. Т. XII, стр. 24. Первоначально помещены в Вест. Европы 1869 г. апрель, стр. 700.

Ясна ли теперь читателю разница между „плебеем безвестным“ Белинским и в философии и политике барствовавшими его друзьями?.

Ту же искренность и глубокую правдивость мысли и чувства вносил Белинский и в свои отношения решительно по всем сторонам жизни.

„Раз приходит Белинский,—рассказывает Герцен, —обедать к одному *литератору* на страстной неделе. Подаются постные блюда.

— Давно ли, -спрашивает он, — вы сделались так богомольны?

— Мы едим, —отвечал литератор,—постно просто на просто для людей.

„*Для людей*“? спросил Белинский, побледнев, — для людей? —повторил он и бросил свое место.—Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты. Всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество!—И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми плантаторами. Прощайте. Я не ем постного для поучения. „У меня нет *людей*“ [1]).

В высокой степени любопытен рассказ Герцена о схватке Белинского с одним „магистром“ из-за чаадаевского „философического письма“. Дело происходило в доме того самого литератора, которого так наказал Белинский за соблюдение постов для „людей“.

„В числе закоснелейших немцев из русских,—рассказывает Герцен был один магистр нашего университета, недавно приехавший из Берлина, добрый человек в синих очках, чопорный и приличный; он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией. Доктринер и несколько педант, он любил поучительно наставлять. Раз на литературной вечеринке у романиста, наблюдавшего для своих людей посты, магистр проповедывал какую-то чушь honnête et moderée. Белинский лежал в углу на кушетке и когда я проходил мимо, он меня взял за ногу и сказал: „Слышал ли ты, что этот изверг врет? У меня давно язык чешется, да, что-то грудь болит и народу много, будь отцом родным, одурачь как-нибудь, прихлопни его, убей какой нибудь насмешкой, ты это лучше умеешь -ну, утешь“.

---

[1]) Герцен. Сочинения т. VII, стр. 139

Я расхохотался и ответил Белинскому, что он меня натравливает, как бульдога на крыс. Я же этого господина почти не знаю, да и едва слышал, что он говорит.

К концу вечера магистр в синих очках, побранивши Кольцова за то, что он оставил народный костюм, вдруг стал говорить о знаменитом письме Чаадаева и заключил пошлую речь, сказанную тем докторальным тоном, который сам по себе вызывает на насмешку, следующими словами: „Как бы то ни было я считаю его поступок презрительным, гнусным, я не уважаю такого человека".

В комнате был один человек близкий с Чаадаевым—это я. Я его всегда любил и уважал, и был любим им; мне казалось неприличным пропустить дикое замечание. Я сухо спросил его, полагает ли он, что Чаадаев писал свою статью из видов или неоткровенно.

„Совсем нет"—отвечал магистр.

На этом завязался неприятный разговор, я ему доказывал, что эпитеты гнусный, презрительный—*гнусны и презрительны,* относясь к человеку, смело высказавшему свое мнение и пострадавшему за него. Он мне толковал о целости народа, о единстве отечества, о преступлении разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя касаться. Вдруг мою речь подкосил Белинский; он вскочил с своего дивана, подошел ко мне уже бледный как полотно и ударив меня по плечу сказал: вот они, высказались—инквизиторы, цензоры,— на веревочке мысль водить... и пошел, и пошел. С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезныя слова убийственными колкостями. „Что за обидчивость такая, палками бьют не обижаемся, в Сибирь посылают, не обижаемся, а тут Чаадаев,—видите ли, — зацепил народную честь. Не смей говорить: речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге,—не обижаются словами?

— В образованных странах,—сказал с неподражаемым самодовольством магистр,—есть тюрьмы, в которыя запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос. Он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, на которой казнят тех, кто находит это прекрасным...

Сказавши это, он бросился на кресло изнеможенный и замолчал. При слове „гильотина“ хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза.

Магистр был уничтожен“ [1]).

Белинский не умел ничего делать на половину, и его слова никогда не расходились с делом. Отрицая в это время „российскую действительность“, он всегда готов был доводить свое отрицание до его последних пределов. В этом отношении заслуживает также внимания один расказ Достоевского г. Всеволоду Соловьеву, помещенный последним в его „Воспоминаниях о Достоевском“. Рассказ этот, сколько нам известно, *не использовал* никто из составителей юбилейных книг и статей о Белинском, и, вообще он прошел в нашей литературе совсем незамеченным. Дело вот в чем: характеризуя Белинского в своем „Дневнике Писателя“, Достоевский рисует не всем известный портрет „неистового Виссариона“, а какую-то восторженную посредственность, „всеблаженного человека“, который, — проживи он дольше,—мог бы кончить свою жизнь в качестве „ад'ютанта у какой-нибудь немецкой madame Гегг на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу“ [2]). Отзыв этот является особенно непонятным, если вспомнить рассказ самого Достоевского о теплом сочувствии, с которым встретил Белинский начало литературной деятельности автора „Бедных Людей“ и его печатное заявление, что разошлись они с Белинским „от разнообразных причин, весьма, впрочем, *не важных во всех отношениях* [3]).

Причину далеко несочувственного отношения Достоевского к Белинскому надо искать в „прямолинейности“ неистового Виссариона, хотя „прямолинейность“ эта означала в данном случае лишь бесстрашие мысли знаменитого писателя и ничего более. Но с этим-то и не могли помириться натуры в роде Достоевского.

В вышеуказанных „Воспоминаниях о Достоевском“ г. Всеволода Соловьева обращает на себя внимание такой рассказ автора: Достоевский только что приступил к своему „Дневнику Писателя“, помещая его первоначально в „Гражданине“. Во время одной из своих бесед с Достоевским, г. Соловьев сказал ему, что „Дневник писателя“ представляет собою „удобную форму

[1]) Ibid., стр. 140—142.

[2]) Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, изд. четвертое, т. IX, стр. 170.

[3]) Ibid, стр. 167—168.

говорить о самом существенном, прямо и ясно высказываться".

— Прямо и ясно высказываться!—повторил Достоевский,—чего бы лучше и, конечно, о, конечно, когда-нибудь и можно будет; но нельзя, голубчик, сразу никак нельзя, разве я об этом не думал, не мечтал!.. Да что же делать... ну, и потом есть вещи, о которых, если вдруг *так никто даже и не поверит.* Вот хоть бы о Белинском (он разскрыл нумер „Гражданина" с первым своим „Дневником писателя") [1],—разве я тут все сказал, *разве то я мог бы сказать?* И совсем-то, совсем его не понимают. Я хотел бы просто привести его собственныя слова и больше ничего... ну, и не мог.

— Да почему же?

— По непечатности.

Он передал мне один разговор с Белинским, который, *действительно напечатать нельзя* и который вызвал с моей стороны замечание, что, ведь, *от слова до дела далеко,* у каждого человека могут быть самыя чудовищныя быстролетныя мысли и, однако, эти мысли никогда *не превращаются в дело* и только иные люди, в известныя минуты, любят с напускным цинизмом как бы похвалиться какой нибудь дикой мыслью.

— Конечно, конечно, только Белинский-то был не таков: он, *если сказал то мог и сделать;* это была натура простая, цельная, *у которой слово и дело вместе.* Другие сто раз задумаются, прежде чем решиться и все же никогда не решается, а он нет. И знаете, теперь, вот в последнее время, все больше и больше разводится таких натур: *сказал и сделал,* — застрелюсь и застрелился, застрелю и застрелил. Все это —это цельность, прямолинейность и... о, как их много, а будет и еще больше, увидите!" [2]).

Основные черты личности Белинского выступают в рассказе этом чрезвычайно рельефно...

---

[1]) Т. е. ту именно статью, из которой заимствовали и мы отзыв Достоевского о Белинском.

[2]) „Исторический Вестник". Март. 1881 г., стр. 607—608. См. также нашу заметку в июльской книжке „Жизни" за 1899 год „Загадочныя строки о Белинском". По поводу последней нам приходилось слышать, что „загадочного" в данном случае ничего нет, так как в рассказѣ Достоевского дело, вероятно, шло о резких отзывах Белинского о личности основателя христианства т. е. о факте уже известном, благодаря письмам Достоевского к Страхову. Кто прочитает сколько нибудь внимательно приводимый г. Соловьевым и воспроизведенный в нашей заметке рассказ Достоевского, тот увидит, что такое об'яснение не выдерживает решительно никакой критики, так как речь идет не о словах Белинского, что бы он там не говорил, как таковых а о словах, которыя могли служить предверием дела.

В сороковых годах во всей Европе шла упорная работа мысли и чувствовалось сильное брожение,—предвестник событий 1848 года. Идея утопического социализма была основою этого движения. Крепко заперты были от европейских влияний ворота России, но, не смотря на все запоры, проникали новые идеи и в наше отечество, производя потрясающее впечатление в передовых слоях русской интеллигенции. В особенности сильно было влияние Франции. Все современники единогласно свидетельствуют о сильном впечатлени, которое производили европейские и особенно французские события на умы горсти русских интеллигентных людей. Сочинения францусских социалистов служили обычным источником беседы в прогрессивной части общества. Вспоминая свою молодость и впечатления, под которыми было написано стоившее ему ссылки в Вятку „Запутанное дело", Салтыков-Щедрин говорит: „из Франции, разумеется, не из Франции Луи Филиппа и Гизо, а из Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занд, лилась к нам вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век" не назади, а впереди нас" [1]).

Характеризуя в своей „записке" дело Петрашевского, известный Липранди писал: „это не заговор, руководимый какою-нибудь частною идеею или страстью, напр., мщением, корыстью, честолюбием и т. д. Нет, в большинстве этих молодых людей видно какое-то радикальное ожесточение против существующаго порядка вещей, без всяких личных причин, единственно по увлечению мечтательными утопиями, которыя господствуют в Западной Европе". Переходя в частности к Кайданову, Липранди продолжает: „все письма Кайданова из Ростова особенно замечательны по тому рвению, которое он высказывает при изучении апостолов нынешней западной пропаганды и по тому восторгу, в который он приходит от одного чтения оных" [2]).

Достоевский говорит, что «название петрашевцев неправильно, ибо чрезмерно большее число в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось нетронутыми и необезпокоенными. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело во всей этой давно прошедшей истории» [3]).

---

[1]) За рубежем. „Сочинения", т. V, стр. 163.

[2]) Очень интересные отрывки из „записок" действ. стат. сов. И. П. Липранди помещены в июльской книжке „Русской Старины" за 1872 года. См. также П. З. 1862 г., кн. 7, стр. 31—37.

[3]) Сочинения Ф. М. Достоевского, т. X, стр. 153.

Очень ярко выражает настроение русских интеллигентных кружков сороковых годов также приводимое г. Пыпиным одно письмо Боткина к Белинскому:

«В настоящее время—писал Боткин,—начинается в Европе новая эпоха. Мир средних веков,—мир мистики, авторитетов, верований вступает в борьбу с мыслью, анализом, правом, вытекающим из сущности предмета, идеи, а не привязанными к ним со вне или по преданию и предположению, и вступает в борьбу не в одиноких, разбросанных явлениях, что было и в средние века, а целыми массами. Недаром кричат Шевырев и «Маяк», что Европа находится в гниении, что связи семейства, общества, государства в ней потрясены. Это так действительно: старые институты семейственности и общественности со всех сторон получают страшные удары. Конец средних веков и начало нового времени есть собственно XVIII век. Во Франции совершилось отрицание средних веков в сфере общественности, в Байроне явилось оно в сфере поэзии, а теперь является в сфере религии в лице Штрауса, Фейербаха и Бруно-Бауера. Человечество сбрасывает с себя одежду, которую носило слишком тысячу лет и облекается в новую... Дух нового времени вступает в решительную борьбу с догмами и организмом средних веков. И внимательное созерцание современного положения Европы, действительно, представляет гниение и распадение всего старого порядка вещей. Новые люди с новыми идеями о браке, религии, государстве,—фундаментальных основах человеческого общества,—прибывают с каждым днем: новый дух, как крот, невидимо бегает под землею и копает ее,—чудный рудокоп! Das alte stürst es ändert sich die Zeit,—und neues Leben steigt aus den Ruinen» [1]).

Представьте себе в этой атмосфере Белинского, вспомните, что «примирительная» точка зрения осталась у него уже позади и будет понятно, *каков* должен был быть Белинский в это время.

И, действительно, в своих письмах к друзьям он напоминает теперь вдохновенных пророков.

«Ты знаешь мою натуру,—писал он в это время Боткину,— она вечно в крайностях... Я с трудом и болью расстаюсь с старою идеею, отрицаю ее до нельзя, а в новую перехожу со всем фанатизмом прозелита. И так, я теперь в новой крайности,—это *идея социализма, которая стала для меня идеею идей, альфою и омегою веры и знания* [2]). Она (для меня) поглотила

---

[1]) Пыпин, т. II. стр. 141—142.

[2]) В статьях о Белинском, печатавшихся в №№. 142, 152, 171 и 179 „Русских Ведомостей“ за 1893 год, г. Якушкин говорит, что употребленное

и историю, и религию, и философию. И потому ею я об'ясняю теперь жизнь мою, твою и всех, с кем встречался я на пути жизни... Социальность—вот мой девиз. Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что *я* понимаю идеи, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними во Христе, но кто мне чужие и враги по своему невежеству? Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает их возможностей? Прочь же от меня блаженство, если оно достается мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и ея представителей. Горе, тяжелое горе, овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извосчика, и идущаго с развода солдата, и бегущаго с портфелем под мышкой чиновника, и довольного собой офицера, и гордого вельможи. Подавши грош солдату, я чуть не плачу: подавши грош нищей, я бегу от нея, как будто сделавши худое дело и как будто не желая услышать шелеста собственных шагов своих. И это жизнь: сидеть на улицах в лохмотьях, с идиотским выражением на лице, набирать днем несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке,—и люди это видят и никому до этого нет дела!.. И это общество, на разумных началах существующее явление действительности!.. И после этого имеет ли право *человек* (курсив подлинника) забываться в исскусстве, в знании! Я ожесточен против всех субстанциальных начал, связывающих в качестве верования волю человека [2]).

Конечно, связанный по рукам и ногам цензурными условиями своего времени, Белинский не мог высказать печатно и тысячной доли того, что лежало у него на душе, и, тем не менее, на его статьях воспитались целые литературные поколения. В свое же время он был настоящим «властителем душ».

«Статьи Белинскаго, — рассказывает Герцен,—судорожно

Белинским в письме к Боткину слово „социализм" не имеет „обычного значения", а должно быть понимаемо в смысле „общественности". С таким об'яснением решительно нельзя согласиться. В опровержение толкования г. Якушкина говорят рассказы о Белинском, находящиеся в письмах Достоевского и многое другое.

[2]) Пыпин, т. II, стр. 122—126.

ожидались молодежью в Москве и Петербурге двадцать первого числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейныя спрашивать,—получены ли «Отечественныя Записки»? Тяжелый нумер рвали из рук в руки. «Есть Белинского статья»? «Есть». И она поглащалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований или уважений как не бывало».

Замечательная особенность критики Белинского состояла в том, что и в этот период своей деятельности, когда руководящею основою ея было не то или иное строгое философское миросозерцание, а просто влечения здорового чувства, в статьях знаменитого критика можно усмотреть гениальные проблески таких мыслей, *правильное* развитие которых дает *разумно-сознанную подкладку* для отрицания.

Мы сейчас поясним нашу мысль цитатами из сочинений самого Белинского, а теперь возвратимся к тому моменту, когда Виссарион Григорьевич только что оставил свою «примирительную» точку зрения.

В 1841 году Боткин прислал Белинскому отрывок из „Hallische Jahrbücher“, в котором уже ясно проводилась точка зрения «левых гегельянцев». По этому-то поводу и написал Белинский Боткину одно из своих замечательных писем.

«Отрывок из «Hallische Jahrbücher»,—писал он первого марта 1841 года,—меня очень порадовал и даже как будто воскресил и укрепил на минуту. Спасибо тебе за него, сто раз спасибо. Я давно уже подозревал, что философия Гегеля только момент, хотя и великий, но что *абсолютность ея результатов никуда не годится*, что лучше умереть, чем помириться с ними. Это я собирался писать тебе до получения твоего этого письма. Глупцы врут, говоря, что Гегель превратил жизнь в мертвыя схемы; но это правда, что он из явлений жизни сделал тени, сцепившияся костлявыми руками и пляшущие на воздухе над кладбищем. Суб‘ект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к суб‘екту Молахом, ибо, пощеголяв в нем (в суб‘екте), бросает его, как старые штаны. Я имел особенно важныя причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что был верен ему (в ощущении), мирясь с расейскою действительностью, хваля Загоскина и подобныя гнусности и ненавидя Шиллера. В отношении к последнему я был еще последовательнее самого Гегеля, хотя и глупее Менцеля. Все толки Гегеля о нравственности—вздор сущий, ибо в об‘ективном царстве мысли нет нравственности,

как в об'ективной религии (как напр., в индийском пантеизме, где Брама и Шива равно боги т. е. где добро и зло имеют равную автономию). Ты,—я знаю,—будешь надо мною смеяться... ло, смейся, как хочешь, а я свое: судьба суб'екта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здаровия китайского императора (т. е. гегелевской Allgemeinhet). Мне говорят: развивай все сокровища своего духа, для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешаться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, а споткнешься, падай, черт с тобой, таковский и был, с... с... Благодарю покорно, Егор Федорович, (Гегель),—кланяюсь вашему философскому колпаку, но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, имею честь донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиций. Филиппа II и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет каждого из моих братий по крови... Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии. Впрочем, если писать об этом все, и конца не будет» [1]).

Это письмо в высокой степени замечательно: не смотря на видимый полный разрыв с «философским колпаком» Гегеля, Белинский восстает против него не всецело, главным образом против «абсолютности результатов» гегелевской философии, стремится установить на нее взгляд, как на «момент» в развитии человеческой мысли (и притом момент «великий»), а на людей, утверждавших, что «Гегель превратил жизнь в мертвыя схемы», как на «глупцов», которые «врут». На все это у Белинского в глубине его духа складывался далеко, конечно, ему самому не ясный, но тем не менее, собственный взгляд, подходивший ко взглядам левых гегельянцев в Европе. Если сравнить только что приведенное письмо Белинского с раньше нами цитированным его же письмом к Боткину, в котором он говорит (по поводу своей статьи о «Бородинской годовщине»), что для полной верности этой «верной в своих основаниях» статьи необходимо было развить и «идею отрицания», как «священного исторического права», то нельзя не видеть, что Белинский стоял

---

[1]) Пыпин, т. II, стр. 104—106.

на верном пути и, сложись обстоятельства для него мало-мальски благоприятнее, получи он большую возможность общения с передовыми умами Европы того времени (вспомним, что он не знал даже немецкого языка и черпал свои сведения о движении немецкой мысли из случайных переводов разных немецких писателей, делавшихся специально для него его друзьями), и из Белинского вышел бы наверно могучий мыслитель.

Строго ограниченный возможностью одной только чисто литературной критики, Белинский умел, тем не менее, проливать яркий свет на очень многие важнейшие вопросы жизни, понимая их гораздо глубже многих и многих из современных нам писателей.

Вот образчики:

«Все служит духу и истина идет всеми путями, часто не разбирая их. Иной удовлетворяет только низким нуждам своей жизни, насыщает свою страсть к любостяжанию и, между тем, делает пользу обществу, нисколько не думая о его пользе, споспешенствует его развитию и благосостоянию, оживляя торговлю, кругообращение капиталов,—один из столбов, поддерживающих здание общества, эту необходимую форму для развития человечества. Но дело в том, что один служит истине для удовлетворения потребности собственного духа, личного стремления к счастью; другой служит ему невольно и бессознательно, думая служить себе. Так, бродящий по полю вол, споспешествуя плодородию земли, делает большую пользу; но кто же ему поклонится за это, скажет спасибо, почувствует к нему уважение? А, между тем, без таких волов общество было бы невозможно, и представить его без них, значило бы представить дом, построенный из камня на воздухе» [1]).

Мысль, выраженная здесь Белинским, отличается замечательною глубиною. Припомните, читатель, недавние споры о капитализме, в которых столь многие почтенные литературные деятели были не в состоянии понять, как это можно одновременно и признавать прогрессивное значение капитализма и относиться безусловно враждебно к его носителям, представителям и выразителям не в смысле, конечно вражды к определенным лицам, а к целому строю отношений, порождаемому владычеством буржуазии. Разрешение такого якобы «противоречия» не представляло бы для Белинского ни малейшей трудности, ибо он ясно понимал, что можно и должно видеть в «деятельности» «бродящаго по полю вола» прогрессивный фактор для земледе-

---

[1]) Горе от ума. Сочинения В. Г. Белинского. 1896 г. т. I стр. 426—427.

лия, так как своими физиологическими отправлениями вол «споспешествует плодородию земли» и в то же время помнить, что вол есть вол и что за приносимую им «пользу общую» смешно и нелепо ему «кланяться, говорить спасибо или чувствовать уважение». Сегодня для пользы земледелия «деятельность» волов безусловно необходима, завтра могут быть изобретены вполне заменяющие продукты «деятельности» волов превосходные фосфориты, и тогда волы окажутся для данной цели ненужными и пойдут для другого употребления. Этим путем Белинский старался анализировать саму действительность и *в ней самой* открывать элементы, которые, *независимо от сознания носителей их*, служат для построения «новой веси». Белинский очень близко подходил к мысли, что одного желания тех, кто служит духу сознательно, еще далеко недостаточно для построения такой «веси», что для этого нужна наличность *в об'ективных условиях жизни* т. е. в отношениях и деятельности того громадного большинства людей, которому ни до каких «весей» решительно нет никакого дела, элементов, непреложным образом складывающихся в направлении неизбежности построения новой веси. Этого до сих пор не понимают многие русские писатели, склонные морализировать там, где ни для какой морали нет места. Белинский думал иначе и вот почему он был так далек от порицания девятнадцатого века за его «меркантильный дух». Он относился к этому вполне разумно, так как умел усматривать процесс зарождения желаемого «нового» в недрах ненавистного «старого».

«Правда, наш век вовсе не рыцарь,—писал Белинский в другой статье:—*он не думает нисколько ни о добродетели, ни о морали, ни о чести* и весь погружен *в приобретение* или, как у нас ловко выражаются, в благоприобретение; правда, он торгаш, алтынник, спекулянт, разжившийся всеми неправдами откупщик, но он очень умен и что мне больше всего нравится в нем, очень верен самому себе, логичен, последователен... Чудный век! Нельзя довольно нахвалиться им! Его открытие важнее открытия Америки и изобретения пороха и книгопечатания, потому что открытая им тайна—теперь уже не тайна не для одних только капиталистов, антрепренеров и подрядчиков, словом, «приобретателей», живущих чужим трудом, *но и для тех, которые для них трудятся... И эти уже знают, на чем мир стоит, т. е. и они хотят читать романы*»... [1]).

---

[1]) Тереза Дюнойе. Матильда. Сын тайны. Иезуит. Сочин. В. Г. Белинского, т. IV, стр. 840.

Мысль, выраженная здесь, довольно определенна...

Мы, конечно, не хотим сказать, что в последний период своей жизни Белинский последовательно держался этой точки зрения; нет, он очень нередко «сбивался» на точку зрения «просветителя», но, принимая во внимание все условия, среди которых ему пришлось жить и работать, нельзя не удивляться изумительной силе мысли нашего незабвенного критика. Под самый конец жизни Белинский и на коренные вопросы русской жизни взглянул с вполне определенной точки зрения. «Теперь ясно видно,—писал он незадолго до смерти одному приятелю,—что внутренний процесс гражданского развития в России, начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию»... [1]).

Литературная деятельность Белинского и в качестве «просветителя» имела, конечно, также огромное значение, но характеристика этой деятельности не входит в план нашего очерка и мы остановимся еще лишь на переписке Белинского, которая представляет собою очень часто гораздо более ценные документы для суждения о состоянии и направлениях русских интеллигентных кружков сороковых годов, чем даже сочинения знаменитого критика. Мы, конечно, не упускаем из виду, что переписка эта сделалась общественным достоянием сравнительно не так давно и Белинский влиял на массу своих современников только своими печатными произведениями. Исключение составляет его знаменитое письмо к Гоголю, сделавшееся по тысячам с него копий общеизвестным еще в сороковых годах, а в печати не появившееся полностью и до настоящего времени. Дело произошло так: в 1847 г. Гоголь был заграницей. Перед этим он напечатал свои известные «Выбранные места из переписки с друзьями». Белинский напечатал в № втором «Современника» за 1847 г. горячую статью по этому поводу, но, разумеется, в узких пределах цензурной возможности. Прочтя эту статью, Гоголь прислал уехавшему также заграницу Белинскому письми, в котором говорит, что статья Белинского подсказана ему каким-то личным против него, Гоголя, раздражением. «Мне тяжело, очень тяжело,—писал Гоголь,—когда против меня питает личное раздражение даже и злой человек, а вас я считал за доброго человека». В ответ на это и написал Белинский из Зальбруна 15 июня 1847 г. свое знаменитое «письмо к Гоголю». Мы приведем это письмо в том его виде, в каком оно уже неоднократно появлялось в разных

---

[1]) Пыпин, стр. 324, а также „П. В. Анненков и его друзья“, стр. 612.

изданиях, исправивши в примечаниях лишь некоторые распространенные в этих изданиях неточности [1]).

«Вы только отчасти правы,—писал Белинский,—увидав в моей статье *разсерженного* (курсив подлинника) человека: этот эпитет слишком слаб, нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение вашей книги. Но вы совсем не правы, приписавши его вашим, действительно, не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства, нельзя молчать, когда под покровом... проповедуют ложь и безнравственность, как истину и добродетель.

Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страною, может любить ея надежду, честь, славу, одного из великих вождей ея на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь.—Говорю это не потому, чтобы я считал любовь свою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении я представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при ея появлении все враги ваши, и не литературные—Чичиковы, Ноздревы, Городничие,—и литературные, которых имена хорошо вам известны. Вы видите сами, что от вашей книги отступились даже люди, повидимому, одного духа с ея духом.

Если бы она и была написана, вследствие глубокого, искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести

---

[1]) Письмо было напечатано первоначально в первой книжке П. З. (стр. 66—68), затем неоднократно появлялось в заграничных изданиях. Ныне наиболее полный текст его (хотя и с сокращениями) напечатан в VIII томе соч. Барсукова „Жизнь и труды Погодина. Значительными частями приведено это письмо также в майской книжке „Мира Божия" за 1897 г. (стр. 87 91) в статье С. Ашевского „Осужденная книга". Цитировали это письмо также Джаншиев (в книге „Из эпохи великих реформ" и сборнике „Памяти Белинского"), г. Пыпин (в книге „Белинский, его жизнь и критика") и некоторые другие.

на публику то же впечатление. И, если ее приняли все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но черезчур нецеремонную проделку для достижения небесным путем чисто земной цели,—в этом виноваты только вы. И это нисколько неудивительно, а удивительно то, что вы находите это удивительным. Я думаю это оттого, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в вашей фантастической книге. И это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому, что столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего *прекрасного далека* (курсив подлинника), а, ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому что в этом *прекрасном далеке* (кур. подл.) вы живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и безсильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому, вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы...—а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и соре,—право и законы сообразные не с..., а с здравым смыслом и справедливостью и строгое по возможности исполнение их. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; страны—где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей! Самые живые современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, *отменение* [1]) телесного наказания, введение

---

[1]) Белинский говорит именно об „отменении" т. е. об отмене телесных наказаний; так значится это в первоначальных изданиях „письма", так процитировано данное место и у г Пыпина *(Белинский, его жизнь и переписка, стр. 260);* поэтому Джаншиев, (двоекратно: в книге *„Из эпохи великих реформ", изд. 7, стр. XI и в статье „Памяти Белинского),* г. Ашевский *(в вышеуказанной статье „Осужденная Книга")* и некоторые другие писатели делают большую ошибку, употребляя вместо слова „отменение"—*„ослабление"*. Помимо суще-

по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими, безплодными полумерами в пользу белых негров и комическим *заменением* однохвоттного кнута, трехвостною плетью.

Вот вопросы, которыми тревожно занята вся Россия в ея апатичном сне! И в это то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале— является с книгою, в которой во имя Христа и церкви, учит варвара помещика наживать от крестьян побольше денег, учит их ругать побольше! И это не должно было привести меня в негодование? Да, если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорныя строки. И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги! Нет, если бы вы действительно преисполнились истиною Христовою, а не дьяволова учения,—совсем не то написали бы в вашей новой книге. Вы сказали бы помещику: что так как крестьяне его братья о Христе, и так как брат не может быть рабом своего брата то он и должен или дать им свободу или хотя, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно выгоднее для них, сознавая себя в глубине своей совести в ложном положении в отношении к ним.

А выражение: «Ах, ты неумытое рыло»! Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру, как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того потому не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей. А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в глупой поговорке, что должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается в частую, хотя еще чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления и другая поговорка говорит тогда: без вины виноват! И такая-то книга могла быть, результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления! Не может

ствования выражения „отменения“, а не „ослабления„ в первоначальных изданиях „письма“, за правильность именно его говорит то обстоятельство. что тремя строками ниже Белинский употребляет выражение „заменение“ (в смысле замены) однохвостного кнута трехвостною плетью.

быть. Или вы больны и вам надо спешить лечиться или... не смею досказать своей мысли!... Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскуратизма и мракобесия, панегерист татарских нравов,—что вы делаете! Взгляните себе под ноги, ведь, вы стоите над бездною! Что вы подобное учение опираете на... это я еще понимаю, но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли тут общего? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения... Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши... Неужели вы этого не знаете? Ведь, это теперь не новость для всякого гимназиста. А потом, неужели вы, автор «Ревизора» и «Мертвых Душ», неужели вы искренно, от души, пропели гимн русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем, как первое никогда ничем не было... но неужели же, в самом деле, вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ разсказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника... И будто вы всего этого не знаете? Странно! По вашему русский народ самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх Божий! А русский человек...

Приглядитесь попристальнее и вы увидите, что... в нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность часто уживается с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за... Русский народ не таков: мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме и вот в этом то может быть огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных исключительных личностей, отличавшихся такою холодною, аскетическою созерцательностью, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось... Его грех винить в религиозной нетерпимости и фана-

тизме; его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольничьих сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете за великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вам на это? Да простит вам... за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, вы не знали, что творили! Но, может быть, вы скажете: «положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь, но почему же отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений»? Потому, отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею. Конечно, в вашей книге более ума и даже таланта, (хотя и того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; но зато они развили общее им с вами учение с большей энергией и большей последовательностью, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как вы желая поставить по свече и тому и другому, впали в противоречие, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театры, которые с вашей точки зрения, если бы вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ея погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения—ясно, что книга писана не день, не неделю, не месяц, а может быть год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимн властям приодержащим хорошо устраивает земное положение набожного автора. Вот почему в Петербурге распространился слух, будто вы написали эту книгу, с целью попасть в наставники к сыну наследника. Еще в Петербурге сделалось известным письмо ваше к Уварову, где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям о России дают превратный толк, затем обнаруживаете неудовольствие своими прежними произ-

ведениями... Теперь, судите сами, можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писятеля и еше более как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ея характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, не смотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почетно, почему у нас так легок литературный успех даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру, эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое, так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта и почему так споро падает популярность великих талантов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение... Разительный пример Пушкин, которому стоило написать только дватри... стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви! И вы сильно ошибаетесь, если, не шутя, думаете, что ваша книга пала не от ея дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных вами всем и каждому. Положим, вы могли думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых Душах» вы менее резко, с меньшею испиною и талантом, и менее горькия истины высказали ей? И старая школа, действительно, сердилась на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые Души» от того не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от.., и потому всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежат в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольства скажу вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в

числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене,—мои друзья приуныли; но я тогда же сказал им, что, не смотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она памятнее теперь всеми статьями о ней, неежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины.

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно, но мысль довести о нем до сведения публики была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться всюду все равно, и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. — Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых не ново, а во-вторых отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой, самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, может быть, плодом или гордости, или слабоумия и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханженству, китаизму. И при этом в вашей книге вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе—это уже гадко; потому что, если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам сам себя, возбуждает презрение. Нет, вы только омрачены, а не просветлены: вы не поняли ни духа, ни формы христианского учения, а болезненною боязнью смерти, черта, ада веет от вашей книги!

И что за язык, что за фразы?.. «Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек», неужели вы думаете, что сказать *всяк* вместо *всякий,* значит выражаться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляет ум и талант. Не будь на вашей книге выставлено вашего имени, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз произведение автора — Ревизора и Мертвых Душ. Что же касается до меня лично, повторяю вам: вы ошиблись, сочтя мою статью выражением досады за ваш отзыв обо мне, как об одном из ваших критиков. Если бы только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем и остальном выразился бы спокойно, безпристрастно.

А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне не хорош.

Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным, но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по человечески не ловко даже за ложную любов платить враждою. Но вы имели в виду людей, если не с отличным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к вашим творениям наделали, быть может, гораздо больше восклицаний, нежели сколько высказали о них дела; но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то превратный толк вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня более всех) частный донос. Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется сколько я помню за его «вялый, влачащийся по земле стих». Все это не хорошо. А что вы ожидали только времени, когда вам можно будет отдать справедливость и почитателям вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением вашим врагам), этого я не знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была ваша книга, а не ваши намерения: я читал ее и перечитывал сто раз и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого, и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемонии, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние «Шпекины» распечатывают чужия письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить в половину, не умею хитрить; это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет, что я заблуждался в моих

об вас заключениях. Я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, и о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас; тут и дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее заключительное слово: если вы имели несчастие с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги, и тяжкий грех ея издания в свет искупить новыми творениями, которыя бы напомнили вам прежния».

Когда Белинский писал это письмо, с ним в Зальцбруне находился Анненков, который рассказывает в «Замечательном десятилетии» некоторые любопытные подробности, относящиеся к этому моменту. Как бы предчувствуя все значение своего письма к Гоголю, Белинский снял с него сам копию и позволил Анненкову снять другую, прибавивши при этом такие слова: «надо всеми силами спасать людей от взбесившагося человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до моего оскорбления Гоголя, то я никогда не могу оскорбить его так, как он оскорбил меня в душе моей, в моей вере в него». Когда затем Анненков уехал в Париж и прочел письмо Белинского Герцену, то последний сказал: «это гениальная вещь, но это, кажется, и его завещание» [1]).

Герцен не ошибся. Заграничное путешествие не принесло пользы для здоровья Белинского и злая чахотка делала свое разрушительное дело. Возвратясь в Петербург, Белинский энергично принялся за журнальную работу, но скоро она стала ему не под силу. Дело дошло уже до того, что он не мог писать сам и лишь диктовал другим свои статьи и рецензии...

«Раз зашел я утром к Белинскому,—рассказывает Панаев,—это было в последних числах апреля или первых мая (1848 года). На двор, под деревья вынесли диван—и Белинского вывели подышать свежим воздухом. Я застал его уже на дворе. Он сидел на диване, опустя голову и тяжело дыша. Увидев меня, он грустно покачал головою и протянул мне руку, всю покрытую холодным потом. Через минуту он поднял голову, взглянул на меня и сказал: «плохо мне, плохо, Панаев!» Я начал было несколько слов в утешение, но он перебил меня: «полноте говорить вздор!»—и снова, молча и тяжело дыша, опустил голову»...

В последние дни Белинского «хозяин русской литературы»

---

[1]) Замечательное десятилетие. «Вест. Евр. 1880. Май, стр. 55–56.

генерал Дубельт «пожелал познакомиться» с Белинским, и последний был оставлен в покое лишь благодаря безнадежному состоянию его здоровья. Знаменитая картина Наумова изображает момент появления в квартире Белинского посланных от «хозяина русской литературы»... Известно, что главнейшим обвинением против Достоевского служил факт прочтения им на собрании у Петрашевского «письма Белинского к Гоголю» и что за это Достоевский был приговорен к расстрелянию. Уже по этому одному можно судить о судьбе, которая ожидала самого автора «письма». От такой судьбы избавила Белинского лишь смерть...

Рассказывают, что за несколько минут до смерти Белинский вскочил с постели и, обращаясь как бы к стоящему в комнате народу, стал произносить речь на известные темы.... В этой потрясающей картине современники видели что-то пророческое и они были вполне правы... Белинскому уготовано великое место среди вождей земли русской, ея трудящего населения....

Белинский умер двадцать шестого мая 1848 года.

Немногие друзья, рассказывает Панаев, проводили прах почившего критика на Волково кладбище, смущенно озираясь на вдруг откуда-то взявшихся у могилы Белинского нескольких «неизвестных людей», с величайшим вниманием следивших за всем происходившим на кладбище, хотя, в сущности, следить было решительно незачем...

Самое имя Белинского стало запретным. Оно перестало совершенно произноситься в литературе и в первых своих «Очерков гоголевского периода русской литературы», печатавшихся уже в царствование Александра II, Чернышевский все еще не мог назвать Белинского по имени и глухо называл его критиком описываемого периода русской литературы [1]).

И, однако, не взирая на все строгости, имя Белинского стало тогда же одним из знаменитнейших имен в России. Известный славянофил Иван Сергеевич Аксаков, человек, находивший влияние Белинского «вредным и дурным», писал к сво-

---

[1]) Опале над памятью Белинского не приходится, впрочем, особенно удивляться, если вспомнить, что подобная же судьба постигла и память.... Гоголя! „После смерти Гоголя,—рассказывает князь Д. А. Оболенский,—сначала цензорам об'явлено было приказание строго цензуровать все, что касается Гоголя и, наконец, об'явлено было совершенное запрещение говорить о Гоголе". (Воспоминания князя Д. А. Оболенского. „Русская Старина". 1873 года, декабрь. Стр. 949).

ему отцу с юга России в 1856 году (т. е. в то время, когда еще нельзя было называть в литературе Белинского по имени) следующия строки:

«Белинский имел огромное влияние на общество, *вредное, дурное,* но все же громадное влияние. Много я ездил по России. Имя Белинского известно каждому, сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернском городе, *который не знал бы наизуст письма Белинского к Гоголю.* В отдаленных краях России только теперь проникает это влияние и увеличивается число прозелитов Белинского. Тут нет ничего странного. Всякое резкое отрицание нравится молодежи, всякое негодование, всякое требование простора, правды, принимается с восторгом там, где сплошная мерзость, гнет, рабство, подлость грозят поглотить человека, осадить, убить в нем все человеческое. *„Мы Белинскому обязаны своим спасением“*, говорят мне везде молодые, честные люди в провинции. И, в самом деле, в провинции вы можете видеть два класса людей: с одной стороны взяточников, чиновников в полном смысле этого слова, жаждущих лент, крестов и чинов, помещиков, презирающих идеологов, привязанных к своему барскому достоинству и крепостному праву, вообще, довольно гнусных. Вы отворачиваетесь от них, обращаетесь к другой стороне, где видите людей молодых, честных, возмущающихся злом и гнетом, поборников эмансипации и всякого простора, с идеями, гуманных... И если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу,—*ищите таковаго в провинции между последователями Белинского* [1]).

Вот каково то влияние Белинского, которое сам автор письма называет «вредным» и «дурным». Это, конечно, указывает на ту пропасть, которая лежала между понятиями о вещах у славянофилов и западников. Конечно, Аксаков не мог не признавать, что проповедь Белинского честности, стойкости, мужества и пр.—вещи хорошия, но рядом с этим Белинский проповедовал и нечто такое, что, по мнению Аксакова, перевешивало влияние Белинского в «дурную», «вредную» сторону и этим для Аксакова вопрос решался... Так думал Аксаков и другие славянофилы, но, если-бы Белинский мог узнать из мо-

---

[1]) Письма И. С. Аксакова. т. III. стр. 290—291.

гилы про вышецитированное письмо Ивана Сергеевича к Сергею Тимофеевичу Аксакову, то он снова мог бы лечь в гроб с большим нравственным удовлетворением. Во многих отношениях дело его жизни, сказал бы он, всетаки было сделано.....

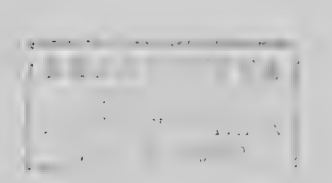
Известно, что И. С. Тургенев просил похоронить себя *у ног* Белинского и, хотя это по некоторым причинам исполнено не было, но самый факт подобной просьбы Тургенева ясно указывает на отношение знаменитого романиста к приснопамятному критику.

Наивная и страстная душа
В ком помыслы прекрасные кипели,
Упорствуя, волнуясь и спеша.

Так вспоминал Белинского в одном из своих стихотворений Н. А. Некрасов.

Да позволено нам будет заменить здесь слово «наивная» словом «великая» и произнести это стихотворение так:

Великая и страстная душа
В ком помыслы прекрасные кипели,
Упорствуя, волнуясь и спеша.....



ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА.

АМИЧИС, Отцовская сиделка.
Д. БОРОВСКИЙ, Пираты.
Д. БОРОВСКИЙ, Репетитор.
ГАРШИН, Сигнал.
ГАУФ, Сказка о калифе-аисте.
ГЕЙЕРСТАМ, Мои мальчуганы.
ДОДЭ, Саранча.
ДОДЭ, Прекрасная Нивернеза.
ДОДЭ, Малыш.
КОНОПНИЦКАЯ, Мендель Гданский.
МАМИН-СИБИРЯК, В глуши.
МАМИН-СИБИРЯК, Серая шейка.
МАМИН-СИБИРЯК, Белое золото.
« » Ак-Бозат.
« » Кара-Ханым.
« » Жид.
ОЖЕШКО, Зимний вечер.
ОЖЕШКО, Миртала.
ПЧЕЛКА-МОХНАТКА, Своим трудом (Распродано).
РОЗЕГГЕР, Хижина дровосека.
СЕРОШЕВСКИЙ, Кули.
» Боксер.
УЙДА, Два друга.
УЙДА, Садик маленького Гарри.
УЙДА, Деревянные башмачки.
ФЛОБЕР, Саламбо.
ЭРНЕСТ, История молодой жизни.
ЮНОША, Мельник из Зарудья.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА.

М. АДЛЕР, Материалистическое и идеалистическое понимание истории (Распродано).

О. БАУЭР, Марксизм и дарвинизм (Распродано).

А. БЕБЕЛЬ, Профессиональное движение и политические партии (Распродано).

В. БРАКЕ, Долой социал-демократов (Распродано).

Цена 8 руб.



Садовая типо-литография. Петроград, Садовая, 61. Телеф. 76-95.